



Собеседник

Сарабьянов Дмитрий Владимирович, Мурина Елена Борисовна

Ведущий

Споров Дмитрий Борисович

Дата записи

Беседа записана 14 мая 2012 и опубликована 5 февраля 2014

Введение

Заключительная часть второй беседы с искусствоведами Еленой Борисовной Муриной и Дмитрием Владимировичем Сарабьяновым посвящена воспоминаниям о самобитном художнике В.Я. Ситникове, участниках художественной группы «Девять», скульпторе А.Т. Матвееве и его супруге художнице З.Я. Мостовой. Завершается беседа воспоминаниями Елены Борисовны о деятельном участии ее матери в жизни А.И. Солженицына и рассказом о Ф.Г. Светове, по делу которого в 1985 году в квартире Елены Борисовны и Дмитрия Владимировича был проведен обыск.

О художнике В.Я. Ситникове

Елена Борисовна Мурина: Васю Ситникова я знала как раз во время войны. Вот мы с мамой год были в эвакуации, вернулись где-то в конце 42-го года в Москву, всякими сложными путями, но вернулись. А у меня была подруга по школе, Мила Адамович, которая училась в Суриковском институте... Это 43-й год, она, наверное, уже там училась, на первом курсе, что ли. Не знаю. В общем, она как-то меня познакомила с Васей, а он там показывал всю жизнь на лекциях...

Дмитрий Владимирович Сарабьянов: ...слайды.

Мурина: ...слайды. «Фонарщик» его звали. И он стал ко мне ходить, с моими приятельницами подружился со всеми, на всех хотел жениться, но что-то у него не получалось. Был совершенно какой-то странный мальч. Но, знаете, он был очень инфантильный, как мальчик, хотя внешне был очень эффектный: у него изумительная фигура была, и он сам умел шить. Он одевался невероятно элегантно, себе шил пальто, костюмы, вязал что-то. И вот он мне рассказал, что

”

когда был на войне, он собирал там листовки немецкие — коллекционировал. Сами понимаете, чем это кончилось. Его поймали на этом деле...

Дмитрий Борисович Споров: Поймали?

Мурина: Да. ...и отправили в прифронтовой сумасшедший дом — такое страшное заведение, где был страшный голод. Он рассказал, что варил себе лягушек в консервной банке, ножки лягушачьи. А еще его спасло то, что он рисовал персонал, поскольку... у Грабаря он учился до войны... У него была крохотная комнатка, он жил с сестрой и ее мужем где-то в районе Сретенки, в переулке, сейчас не помню, в каком. Там была у них комната, а у него — маленькая отгороженная комнатка, и там она вся была завешена его этюдами. Очень тонкие, хорошие этюды. И он в этом сумасшедшем доме еще рисовал на обрывках бумаги какие-то сценки: как эти сумасшедшие дерутся, отнимают друг у друга еду, куда-то идут — в общем, целая серия рисунков, невероятно выразительных. Я уже училась в университете, значит, был 44-й — 45-й год... А, наверное, это был 44-й — 45-й год, когда мы с ним подружились. И он мне их отдал. Я тут же потащила их в университет показывать своим, рассказывать, что вот это прифронтовой сумасшедший дом, рисунки эти. А у нас был такой куратор от партии, Ястребов...

Сарабьянов: Как его звали?

Мурина: Иван... Иванович, что ли. Он приставлен был к нам, просто надзиратель такой. Он, когда увидел эти рисунки, он просто: «Что вы делаете? Отдайте сейчас же!» — Он их у меня забрал и куда-то их...

Споров: И всё?!

Мурина: И все, к сожалению...

Споров: Печально, печально.

Мурина: ...они пропали, а они были очень выразительные. Маленькие, просто на таких вот клочках, какие-то обрывках... Где-то он их добывал, эти обрывки, и на них рисовал.

Споров: И что он? Прифронтовой сумасшедший дом, так он и...

Мурина: Вот он там был какое-то время... До конца войны? Наверное, до конца войны. Нет, не до конца — в начале войны он пошел, очевидно, его просто забрали на фронт, потом он стал собирать какие-то листовки (немцы сыпали много листовок), потом его забрали... Я думаю, что он там пробыл год, потом его просто списали, и он вернулся в Москву к своим родственникам.

Споров: Он был чудной.

Мурина: Он был чудноватый. Не то что он был шизофреник какой-нибудь, или сумасшедший, или параноик — этого не было. Он просто был какой-то недоразвитый, как ребенок, наивный очень... Таким он и оставался.

Сарабьянов: Нет, но все-таки сумасшедшее начало какое-то в нем было.

Мурина: Не знаю, не знаю, нет.

Сарабьянов: Мне казалось.

Мурина: Нет. Ну, сумасшедший — это человек, который...

Сарабьянов: Ну, Лёль, разные бывают сумасшедшие.

Мурина: И вот...Конечно, я сделала одну ужасную глупость: он нарисовал мой портрет, довольно большой... карандашом правда. Такой мощный был портрет... под Эль Греко немножко: у меня ассиметричное лицо, он как-то это усилил, очень сильный портрет был. Но я его не сберегла, к сожалению.

Споров: Это был классический портрет или стилизованный такой?

Мурина: Нет-нет, не стилизованный. Совершенно классический портрет, но очень такой... Я помню, когда он рисовал, он так смотрел на меня, как ястреб какой-то, прямо «вырывал из меня куски» и рисовал так. Очень сильный портрет. Мне так жалко, что я его утратила... Просто великолепный, мне казалось, был портрет. Наверное, я вышла замуж и на радостях его дома оставила. И он куда-то пропал...

Сарабьянов: А куда же он делся?

Мурина: Ну, не знаю, куда-то исчез. И очень его [Ситникова] любила моя мама. Он к нам приходил, она его кормила, чем могла, мы сами, конечно, не очень... Какой-то он голодный бывал. Но одет был как никто: у него были бриджи, пиджак, пальто роскошное — все сам шил. Оказывается, когда он сидел в сумасшедшем доме, его там научили вязать. (Ну, это всегда — успокаивающее такое [занятие].) А он еще и шить научился каким-то образом. В общем, Васька был такой!.. Например, он не носил ни кепок, ни шапок зимой, а у него была такая... наушники такие — он сам их себе связал. Это сейчас такие носят, а тогда никто не носил, он выглядел просто как иностранец. *(Все усмеваются.)* И очень был какой-то трогательный... Взрослый мужик (он старше был нас всех)...

Сарабьянов: Да, намного!

Мурина: ...а говорил, как ребенок.

Сарабьянов: Лет на десять, наверное.

Мурина: Не на десять, а... лет на пять, на восемь. В общем, старше был. А на самом деле какой-то трогательный именно человек. А потом как-то я его потеряла из виду, то есть я знала, что он продолжает в Суриковском...

Сарабьянов: Показывать картинки.

Изучение живописи по черно-белым диапозитивам

Мурина: ...показывать диапозитивы, слайды... Не слайды, это были диапозитивы, причем черно-белые, не цветные. Мы учились в университете на черно-белых.

Сарабьянов: Мы так и учились на этом. Всю живопись западную знали именно...

Мурина: (*Смеется.*) Нам преподаватель рассказывал, в каком цвете это все: малиновая шапочка или ярко-синий плащ...

Споров: А были же все-таки цветные издания. Их просто было очень мало, да?



В.Я. Ситников

Мурина: Да не было ничего! Вот Дмитрий Владимирович, когда вернулся с войны, привез целый чемодан книг, даже не один, а два. Его посылали начальники по пустым немецким квартирам ну, они, наверное, тряпки собирали, а он собирал книги. Вот это были главные наши книги, когда он появился у нас на курсе. А цветных не было еще, нет, не было цветной печати, просто не было. Я помню, мне из Германии мой друг один прислал цветные репродукции, где-то он раздобыл их. (*Обращается к Сарабьянову.*) Это Валька Островский. Я потом видела их наклейками в разных немецких книгах. А он мне прислал целую пачку. Вот это было у меня, но вообще, в принципе у нас ничего не было. У нас цветной не было печати в то время.

Сарабьянов: Нет, ну, были какие-то отдельные репродукции.

Мурина: Во всяком случае, цветных слайдов не было.

Споров: А в запасники пускали студентов в Пушкинском?..

Мурина: В Пушкинском нет, никогда не были в запасниках. Но там же в 49-м году вообще был музей подарков Сталину.

Споров: Но основная экспозиция все же была, не только ж подарки...

Мурина: Не было. Всю экспозицию сняли...

Сарабьянов: Не было никакой экспозиции, только подарки.

Мурина: Музей закрыли, и весь музей был забит этой чудовищной требухой.

Споров: И как долго это продолжалось?

Мурина: Это продолжалось... Только после его [Сталина] смерти, через какое-то время, все убрали и открыли музей. В 56-м году открыли... то есть три года после его смерти не открывали. Все это надо было куда-то... решить сначала, что закрывается, потом все это куда-то свалить, подготовить экспозицию...

”

Помню, это такой был праздник, когда музей открыли. А в Третьяковку в запасники мы ходили уже взрослыми, туда тоже не пускали.

Сарабьянов: Я студентов водил... я водил всех, все им показывал: и Кандинского, и все на свете...

Мурина: Ну, это уже было в 60-е — 70-е годы.

Сарабьянов: В 60-е.

Мурина: А вообще-то ты это делал совершенно незаконно, потому что туда в принципе не пускают никого.

Сарабьянов: По блату меня туда пускали, свои...

Мурина: Ну да. Так что у нас образование, конечно, было... Я помню, когда в Италию приехала, каждая картина была открытием, потому что я ее знала в черно-белом изображении...

Сарабьянов: Сюжетно.

Мурина: ...и вдруг! Потом масштаб! Одни оказались очень большие, а другие, наоборот, очень маленькие. Просто голова кругом шла!

Общение с Ситниковым, отношение к его живописи

Сарабьянов: Ну Васька-то потом появился... Ты бросила про Ситникова рассказывать...

Мурина: А когда он появился? Потом я как-то у него бывала все-таки, когда он уже стал таким...

Сарабьянов: Ну хорошо, он же все время... потом ходил к Ленке.

Мурина: Это все было тогда, в 44-м — 45-м. Он хотел жениться на ком-то. У меня были подруги, он то одну, то другую пытался сосватать, ну, не знаю, может, не всерьез, говорил: «Ну как ты думаешь, Лена за меня пойдет?» — «Вась, не знаю, попробуй».

Сарабьянов: Он хотел тогда на Ленке жениться.

Мурина: Ну это все было в те годы, в 45-м — 46-м. Ну, как хотел... Он меня спрашивал...

Сарабьянов: Как в 45-м? В 45-м меня тогда еще не было в Москве.

Мурина: Ну и что?

Сарабьянов: А я-то... Я часто видел его там, у Ленки.

Мурина: Мы же с тобой в 45-м уже познакомились — в 46-м, может, он бывал. А вот когда он... Я у него была, когда он женился на какой-то своей молоденькой художнице... А потом я его совершенно потеряла из виду. А потом он стал... связался уже с художниками, стал всякие стилизованные картинки рисовать.

Споров: Он тогда не был художником?

Мурина: Нет, не был.

Споров: Совсем ничего не писал?

Мурина: Совсем ничего.

Споров: А как вы воспринимаете его живописные [работы]?..

Мурина: Ну, мне как-то они не очень: снежинки какие-то...

Споров: Лубочная вся эта история.

Мурина: Да, лубочные. Мне кажется, это не очень интересно.

Сарабьянов: Нет, ну, что-то есть, какая-то выразительность там была. Не знаю, мне кажется, не так уж совсем... Их там было несколько, вокруг этой группы Рабина... Еще несколько человек, которые так работали.

Мурина: Ну, Харитонов был. Я думаю, что... Одно время он подружился с Морозовым... Я знаю, что они вместе ездили в Коктебель, еще куда-то. Он ему как бы покровительствовал немножко, Морозов. Может быть, он его как-то направил... живописью заняться снова... Но этот период я уже... Я его хорошо знала сразу после, как его списали из армии. А потом как-то он у меня исчез.

Сарабьянов: Нет, теперь ты тут забыла, а я вот очень хорошо помню: даже помню какие-то сцены на кухне у Фельдманов. Как ее звали, маму?

Мурина: Евгения Ромуальдовна.

Сарабьянов: Евгения Ромуальдовна. Она тоже как-то при этом присутствовала: чего-то он там откуда-то доставал, какую-то колбасу им приносил... Ты не помнишь?

Мурина: Не помню.

Сарабьянов: Кто-то еще из нашей группы — то ли Ирка Никонова...

Мурина: Ленка не захотела замуж за него, тогда он стал к Ирке свататься.

Сарабьянов: Ну так откуда это все?

Мурина: Это был как раз 46-й год.

Сарабьянов: Нет, наверное 47-й... Это я почему-то помню.

Мурина: Колбасу запомнил! *(Смеются.)* Тогда колбасы не было...

Сарабьянов: Нет, была! Почему? Была.

Споров: Они, наверное, пользовались популярностью [благодаря] этой китчевой форме у иностранцев?..

Мурина: Ну конечно!

Сарабьянов: Да-а-а! Диковинка какая-то была, ну как же.

Споров: Русский шаман такой.

Мурина: Да-да-да. Ну, потом он вошел в роль, судя по рассказам. Он уже себя позиционировал как такой... немножко скоморох. *(Усмехается.)*

Споров: Но он не был предметом интереса Костаки?

Сарабьянов: Нет.

Мурина: По-моему, не был, Костаки его не покупал, нет. Костаки вообще не очень долго их покупал.

Сарабьянов: Нет, по-моему, ничего не покупал.

Мурина: У него были их картины: и Рабина, и Кропивницкого, наверное. Кто еще?

Сарабьянов: Так Зверев у него был.

Мурина: Зверев его очень интересовал. Но он действительно талант был. Вася не был такой, растерял, может быть, не знаю. Не помню, чтобы Костаки интересовался Ситниковым. Больше я про него ничего не могу рассказать.

О «Девятке» и ее первой выставке

Споров: Ясно. Вы постоянно упоминаете так называемую «Девятку». Вы, я так понимаю, их всех знаете?

Сарабьянов: Ну а как же, мы же дружили.

Мурина: Мы как раз с ними дружили.

Сарабьянов: Мы были там десятым и одиннадцатым [номером]. *(Смеются.)*

Мурина: Сначала мы с Биргером познакомились. По-моему, он сам сначала с нами познакомился, он был у них самый активный.

Сарабьянов: Политрук.

Мурина: Да, политрук при «Девятке», потому что они все были мужики, а он — интеллигент. Он с нами познакомился сам, а потом мы познакомились с Андроновым, с Егоршиной, очень с ними подружались.

Сарабьянов: Потом появился Павел Никонов. У них сначала не было в группе Павла.

Мурина: У них в группе был его брат, Михаил Никонов. Очень талантливый тоже парень.

Сарабьянов: Павел примкнул к этой «Девятке»...

Мурина: Уже потом, да.

Сарабьянов: Там же, в «Девятке» были....

Мурина: Кирилл Мордовин очень талантливый был. Он, правда, немножко под французов работал, под Модильяни. Но все-таки он был талантливый.

Споров: А выставка эта была где?

Мурина: Первая выставка так называемой «Девятки» была в МОСХе на Беговой, весь нижний этаж был занят. Там много было выставлено работ. Они выставили все, что у них было. «Девятка» называлась, потому что с ними была Маша Фаворская...

Сарабьянов: ...и еще один скульптор...

Мурина: ...и Леонид Берлин, очень интересный скульптор... Это было большое событие, формально это уже не соцреализм был, а скорее — на основе «Бубнового валета»...

Сарабьянов: Не все. Миша Иванов вряд ли к «Бубновому валету» имел отношение...

Мурина: Ну хорошо, но он из Фалька как-то исходил. Все-таки это было совсем не то, что принято. Поэтому выставка нашумела. Я помню, даже была дискуссия по поводу этой выставки.

Споров: Ругани много было?

Мурина: Очень много! Но на дискуссии, в основном, конечно, все были «за». А официальная оценка была очень отрицательная.

Споров: А интересно, Фальк приходил, смотрел, не знаете?

Сарабьянов: Фальк — нет, по-моему. Я не думаю.

Мурина: Это какой год был?

Сарабьянов: Он умер в 57-м, а это было позже, это было году в 59-м — 60-м, что-то в этом роде (*В мае 1961 года*).

Мурина: Жив был Павел Кузнецов, но на выставке он не был, я его потом отвозила к ним, уже на Сиреневый бульвар. Это я, по-моему, вам рассказывала... Кончаловский тоже, по-моему, был жив, но его не было... Там никого таких не было. Ну, я не помню. Во всяком случае, молодой и средний слой МОСХа... На дискуссии... весь этот низ был заполнен художниками, и даже транслировались выступления по радио, так что все было слышно. Я помню, что очень... Паша (*Никонов*)... он не участвовал с ними на выставке, но он там выступал. Он был очень красивый, как Грегори Пек, еще даже лучше, в красном свитере... (*Усмехается*.) Вообще он очень популярный был, и не только среди женщин, но и среди мужчин. И он выступал в защиту этой выставки, и зал ревел — в общем, там такой был подъем большой в связи с этой выставкой...

Споров: А совместные выставки, уж извините мою неосведомленность, они были у них потом?

Мурина: Да, они выставались, и Вейсберг поэтому отчасти с ними дружил, потому что он с ними выставался. Потому что когда он приносил свои работы просто на выставки... Он регулярно шел со своими работами, например, на Кузнецкий 20 (там каждый год бывала выставка МОСХовская), у него брали, в лучшем случае, одну работу, а иногда и не брали ничего. Но он все продолжал методично туда носить. А на этих выставках его все-таки выставляли, так что он с ними... Но вот именно в «Девятке»

он не был, он, наверное, с ними потом связался...

Сарабьянов: Ты уверена, что он в «Девятке» не был?

Мурина: Да. Нет. Ну, кто там был? *(Вместе с Сарабьяновым.)* Андронов, Егоршина, Миша Никонов, Биргер, Мордовин, Берлин, Маша...

Сарабьянов: Ну, сколько насчитала?

Мурина: Семь.

Сарабьянов: Еще двое должны быть? Так вот Вейсберг и был.

Мурина: Может, и был, я уж сейчас не помню.

Сарабьянов: Был, был уже.

Мурина: На первой молодежной выставке Володя был, у него там был натюрморт с тарелками, он произвел тогда впечатление. Он и Васнецов тогда произвели впечатление тем, что они совсем не похожи на всю эту белиберду...

О знакомых художниках

Споров: А вы не общаетесь с Немухиным Владимиром Николаевичем?

Сарабьянов: Да нет как-то.

Мурина: Знаете, я с ним немножко общалась. Был такой художник, очень хороший, Чернецов Владимир... как его по отчеству?... по-моему, Григорьевич. Он работал главным художником в журнале «Вокруг света», и он вот как раз всем этим ребятам давал работу.

Сарабьянов: Подкармливал.

Мурина: И потом они очень дружили с ним. Немухин, Мастеркова — вот, в особенности они, даже где-то жили за городом вместе. Платов там был с ними рядом. Я у него их встречала. С Немухиным я еще общалась где-то, не помню, ну, как-то общалась. Не то чтобы мы дружили (этого не было), но нам очень нравилась Лида, ее живопись, но и он тоже... Мы общались, не дружили, а так: на выставках, которые, как правило, не успевали открыть, как их тут же закрывали. Не могу сказать, что мы так вот близко общались.

Споров: Просто он из немногих живущих.

Мурина: Да. Но он очень симпатичный был и есть, сейчас он такой стал старец. Во всяком случае, когда мы встречаемся, мы очень друг другу рады, он меня помнит.

Сарабьянов: Он один остался ведь?

Мурина: Нет, Рабин жив... Он в Париже...

Сарабьянов: А этот старик-то, вот у него был сын-то, он тоже умер?

Мурина: Кропивницкий умер, Лёва, давно уже. Жена Рабина умерла. Сейчас Штейнберг умер.

Споров: Но у него сын ведь?

Мурина: Да, абстракционист... У него бывали хорошие картины.

Сарабьянов: У Штейнберга?

Мурина: Нет, у Кропивницкого, у Левы. Ну, мы бывали у них в Лианозове. Но как-то мы особенно ни с кем из них не дружили, потому что... Мы вот с этим сдружились почти, но потом они уехали... с этим...

Сарабьянов: С кем? Кого ты имеешь в виду? С Штейнбергом?

Мурина: Нет... Купер! Он у нас как-то Новый год встречал.

Сарабьянов: Но Купер же не был в этой группе, лианозовской.

Мурина: Нет конечно, но мало ли кто там не был. Потом мы бывали в мастерской... ну, самый сейчас знаменитый...

Сарабьянов: (О Купере.) Он тогда Куперманом был, потом стал Купером.

Мурина: Во Франции стал Купером. (Продолжает вспоминать.) Ну, самый... вот — Кабаков! Вот с Кабаковым мы общались, мы у него в мастерской были пару раз, потом он у нас как-то показывал свои работы, мы набрали людей, у него были такие циклы на белых листах...

Сарабьянов: ...Остроумные всегда...

Мурина: И не только остроумные, но с уходом в инобытие, как бы биографии каких-то людей — несколько листов... Он даже нам подарил эти листы, но такие факсимильные издания, как подлинники абсолютно, никакой разницы. В общем, мы с ним общались, он мне был тогда очень интересен.

Споров: Был или не был?

Мурина: Был. И Дмитрий Владимирович. Мы с интересом к нему относились.

Споров: Он много пишет сейчас, у него несколько книг, и мемуары у него есть.

Мурина: Да. Но как-то сейчас мне он...

”

Вообще мне кажется, что они все, попав на Запад, стали немножко рабами этого рынка, западного.

Споров: То есть они хороши были в наше время...

Мурина: Ну да. Понимаете, преодолевалось что-то, это питало их творчество, попытки идентификации — вот это всё...

Споров: Ну и протест.

Мурина: Да, и протест. А там они получили все маршанов, которые стали торговать их картинами... Поэтому они как бы попали в рабство... Обязательно они должны были делать то, чем прославились. Вот, например, этот замечательный Целков — какой мощный был художник...

Сарабьянов: Кто-кто?

Мурина: Целков. А там он то же самое делает, но уже это как-то выдохлось... развития нет, а наоборот, угасание... Но они заработали деньги, дома, квартиры получили. Но вот этого духа...

Споров: Вы имеете виду Штейнберга?

Мурина: И Штейнберг, мне кажется, тоже. Он был интересней здесь. А там уже то же самое повторялось...

Споров: А вот художник (совсем недавно я про него узнал) Олег... в Англии он долго жил — Олег... Кудряшов что ли?

Мурина: А! Кудряшов. Вот я не знаю, куда он девался, он же вернулся сюда... Он совершенно не функционирует, выставок нет.

Споров: Про него вышел фильм, но такой, полулюбительский. Причем неплохо сделан, и там показано здорово: он и рисует, и...

Мурина: Он был очень талантливый художник. Когда он был здесь, очень был яркий художник, многообещающий... Очень тяжелый человек, трудный очень, с такой женой, которая тоже... Жена очень важна у художника. Она просто была жертвенная служительница его культа...

Сарабьянов: Ну, у него были и друзья тут...

Мурина: Да. Его очень ценили Жилинский, особенно его жена Нина Жилинская, очень хороший скульптор была, кстати, талантливый... Красулин, Дима Шаховской — вот это был его круг, который его поддерживал. У него были очень хорошие работы, чувствовалось, что это большой талант. И то, что он там делал, было интересно. Он потом сюда приехал, была выставка его — очень хорошая. Потом он со всеми рассорился — у меня такое впечатление, и я не знаю, где он. Я думала, что он обратно уехал, в Англию.

Споров: Вроде бы нет.

Мурина: Что-то о нем никто ничего не знает.... Вообще было бы здорово, если бы о нем издали книгу. Вот уж кто достоин книги — это он, очень талантливый человек... Он вообще... немножко такой (*усмехается*) безумный...

Сарабьянов: И энергия у него очень большая.

Мурина: ...безумец от искусства. Знаете, бывают такие безумцы. Не то, что он псих какой-то, а именно безумец. Мне он очень нравился. Я была уверена, что он уехал. Как-то его не приняли. Он-то думал, что тут на ура будет. Он вернулся вскоре после того, как началась перестройка. И вот выставка его, она имела успех, но как-то...

Сарабьянов: Нет, он уезжал позже.

Мурина: Нет, уехал он давно. Он вернулся, я говорю, когда перестройка тут произошла. (*Кудряшов эмигрировал в 1974-м, вернулся в 1997 году*)... Лет десять уже. Я и удивляюсь, что его нигде не видно и не слышно. Но вообще-то, мы уже очень отстали от художественно жизни — может быть, что-то прозевали. Мы уж старики, из XIX века. (*Смеются*)

Сарабьянов: Да ну! Из XVIII. (*Смеются*)

Знакомство с А.Т. Матвеевым и написание монографии о нем

Споров: Я хотел, поскольку пропала запись про Александра Терентьевича Матвеева...

Мурина: А, и ничего не записалось?

Споров: Да. Ничего не осталось, к сожалению.

Мурина: Я вообще о нем понятия не имела до его выставки, которая была... В каком же году? Тоже, по-моему, в 56-м. *(Обращается к Сарабьянову.)* Нет?

Сарабьянов: Ну, уж ты от меня многого хочешь...



А.Т. Матвеев

Мурина: Вот с датами плохо, конечно. Забывается все... Он же был совершенно выкинут из жизни, он был очень известный до войны, когда он был профессором Академии, преподавал там, был абсолютный авторитет для всех скульпторов, все скульпторы ленинградские учились у него. У него была мастерская, все через него прошли. Боялись его все страшно, он был такой суровый, немногословный человек. Но настолько авторитет большой, что просто боялись. А мы ничего о нем не знали... Он уехал в эвакуацию с Академией в Среднюю Азию, а вернулся оттуда в Москву. У него была квартира на Масловке, но в 48-м году его выгнали совершенно безобразно из Суриковского института, просто с позором, его и Осмеркина.



Была статья в «Правде» Вучетича, где его систему преподавания объявили «шаманством», и что он губит молодежь... И он совершенно исчез из поля зрения с 48-го года. Мы тогда были студентами, а когда окончили, мы уже ничего о нем не знали. А преподавали нам советское искусство так, что мы вообще никого не могли знать.

Споров: Кто у вас преподавал, кстати?

Мурина: У нас преподавал такой Поликарп Иванович Лебедев, он был потом директором Третьяковки, а до этого был даже какой-то шишкой в министерстве, какой-то партийный функционер. Ну, это было ужасно бездарно, и абсолютно исключено все, что стоило того, чтобы быть искусством.

Только вот Герасимов... Академия... Если кого-нибудь упоминал, только как формалистов. Крупных художников он просто не упоминал. Мы их не знали, потому что прессы не было никакой. И вдруг его [Матвеева] выставка открывается, это было уже, конечно, после 56-го года (по-видимому, была оттепель еще) на Кузнецком 20. Я пришла — и просто обалдела: какая красота, какая...

Споров: Мощь.

Мурина: Да вы знаете, даже не мощь — у него же маленькие работы в основном. Крупная была только эта его «Девушка» знаменитая. А так все маленькие работы, но такое совершенство пластическое, в наше время это что-то небывалое... Несколько портретов было дореволюционных, тоже прекрасных, и вот эти фигурки — обалдеть! Я попросилась в «Творчество», чтобы написать о нем статью, и когда статья вышла, мне позвонила его жена, Зоя Яковлевна, и сказала, что они прочли мою статью, что им очень понравилось, хотят познакомиться. Это была статья в журнале «Творчество», а еще была статья Сони Каплановой в журнале «Искусство», по-моему, тоже хвалебная. И мы отправились к нему в гости, вдвоем. Как-то все запомнилось хорошо: открывают дверь, стоят они рядом... Она была полная, и видно было, что она его муза, потому что у нее лицо было очень похоже на лица его моделей, такое массивное довольно-таки... Вот у меня, скажем, нос торчит, а у нее как-то все было сглажено, такие узкие глаза зеленые. Она в молодости была очень красивая, такой тип, немножко такое... обобщенное какое-то лицо.

Сарабьянов: Я хотел показать ее картинку, но что-то не нахожу. Где-то она у меня была...

Мурина: А вот здесь она всегда стояла. Куда она девалась?

Сарабьянов: То ли я убрал ее... А вот там!

Мурина: У меня просто ее картинка. Она очень хороший живописец была, участвовала в авангардном движении дореволюционном, была в... Как называлась эта группа? Где она была, с Кульбиным, с Каревым?.. Ну как это? «Союз молодежи»!.. Была такая группировка авангардистов в Петербурге, она там выставлась с ними, работала. Но все свои ранние работы уничтожила. Из-за Матвеева, я думаю, он не любил авангард. Он такой классик был.

А он такой очень широкий в плечах, кряжистый, большая голова, скульптурная. У него автопортрет есть: очень мощные скулы, сильный подбородок. Но небольшого при этом роста, немножко скособоченный. Страшно мило нас встретили, посадили за стол на кухне, очень уютно все, красиво, посуда какая-то хорошая, старинная, угощение. Она была прелесть просто, живая! Я потом с ней очень дружила после

его смерти. Ну и разговор пошел. Он говорит: «А где ж вы учились-то?» Он вообще был потрясен, что есть какие-то искусствоведы, которые про пластику говорят, потому что это же все было отменено — все это «формализм». «Где ж вы учились, откуда вы такие взялись?» — «Ну как, в университете учились». — «А кто же там преподавал?» Я говорю: «Тот-то, тот-то, Федоров-Давыдов...» — «Это ж какая сволочь!» (*Смеются.*) «Сволочь» у него было любимое слово, надо сказать, как у Павла Кузнецова.

Сарабьянов: У Павла Кузнецова, да.

Мурина: Почему-то «сволочь» они употребляли... Они же из очень простых семей, но все-таки служители искусства, поэтому были воспитанные, любезные, очень расположенные, замечательные. Вот так мы познакомились, посидели, о чем-то поговорили. Потом мне предложили написать о нем книжку в издательстве «Искусство». Я пошла к нему узнать, как он:

”

«Предлагают написать о вас монографию, как вы к этому относитесь?» Говорит: «Ну, пишите, конечно». Я говорю: «Но я не знаю, как писать о скульптуре». Он говорит: «Да как? Очень просто! Пишите, как письмо на родину».

Я это хорошо запомнила. Я говорю: «Ничего себе!.. Проще это искусствовознание разводить, чем письмо на родину». В общем, я написала довольно быстро какой-то текст, но в основном, я сама училась разбираться в пластике: откуда это все взялось, французы, как от Родена пошло возрождение скульптуры, Майоль. Матвеев как бы на русской почве то же самое и даже лучше, мне казалось. Ну, написала, принесла ему читать. Он прочел, он уже больной был, у него рак был легких. Но я не знала, что он болен. Прочел и позвал меня поговорить. У меня даже эта рукопись где-то лежит, она вся подчеркнута, но не замечаниями, а просто какие-то иногда... Первое, что он сказал: «Что же вы меня все время сравниваете с Роденом и Майодем? Они-то на французскую традицию опирались, а я всю жизнь только по башке получал дубиной».

Споров: По русской традиции.

Мурина: Он любил так иногда выражаться. Но потом он все-таки что-то мне сказал. Я говорю: «Ну, а все-таки, как в целом?» Он говорит: «Вот это надо все-таки как-то более уточнить, убрать немножко...» У меня много было, действительно, там рассуждений о Родене и Майоле — о зарождении скульптуры вообще. «Постарайтесь обойти скульптуру кругом», — он сказал.

Споров: Какие ёмкие фразы!

Мурина: Да. Он очень лапидарно выражался. Я поняла, что просто надо больше написать о скульптуре — «кругом обойти», потому что каждый профиль скульптуры открывает какой-то новый, и образный, и художественный смысл. Ну, чего-то я попыталась... Но когда книжка вышла, он уже умер. Он вскоре умер. Похороны были очень торжественные, много народу было, его уважали. Двух художников так уважали, даже не Павла Кузнецова, мне кажется, а Матвеева и Фаворского. Их очень уважали все. Много было народу.

Сарабьянов: Нет, ну, это все-таки было время уже, когда... можно было...

Мурина: Ну, да, это уже конец 60-х годов, все более-менее... вставало на свои места. Но вот потом, [после того как] я побывала у него с этой рукописью (я три часа пробыла)... мне Зоя Яковлевна сказала, что я была последняя, кто с ним разговаривал. Он очень много говорил со мной... Много что рассказывал

про Борисова-Мусатова.

Споров: А они просто с ним дружили, общались?

Мурина: Да-да, Мусатов был старше них. Они же все из Саратова: Павел Кузнецов, Матвеев, Уткин, Карёв...

Сарабьянов: ...и рядом был Петров-Водкин.

Мурина: И Петров-Водкин. Но он немножко был в стороне. Они все саратовцы.

Сарабьянов: Не в самом Саратове, а где-то там...

Мурина: Они-то саратовцы. Петров-Водкин был из... Как этот город? (*Хвалы́нск*)... А Борисов-Мусатов жил в Саратове. Потом только, в последние годы, перебрался в Петербург. Он побывал в Париже, там жил, работал, он был носителем новых идей... Он был их наставник, они его так и рассматривали. Потом же, он замечательный художник был... они очень его ценили. И человек прекрасный. Вот он о нем рассказывал: он возмущался, что этот дурак, барон Врангель (он именно подчеркнул, что «барон»), написал о нем, что он певец каких-то там старинных дворянских усадеб, что это такая ерунда вообще, ничего похожего! Он, говорил, просто жил в доме, который стоял на плацу, где солдаты маршировали, пыльная, страшная площадь, и сзади домики, садик небольшой. Вот этот садик он и писал, наряжал своих натурщиц в одежды своей матери, которые лежали в сундуке (сестру и еще какие-то бывали натурщицы)... Сам им делал парики... Вот все эти парики, которые на его моделях, с локонами — это он все сам делал. Об этом он [Матвеев] много говорил. Потом как-то мне запомнилось, что он сказал, у него была... Он [Борисов-Мусатов] был женат, у него дочь была, тоже художница, мы даже ее знали. Он любил одну женщину — Станюкович, и она умерла неожиданно. И вскоре после этого умер Борисов-Мусатов. И он [Матвеев] как-то дал понять, что [Мусатов] из-за этого умер: то ли с собой покончил, то ли просто не мог пережить утрату. И вдруг он [Матвеев] так встал как-то и так в окно (он сидел напротив окна): «И он ушел туда...» И показал рукой. Такой жест был неожиданный, я это запомнила очень. Потом я его спросила, кого он считает своими учениками. Он мне перечислил целый ряд: Малахин, который в Москве жил, Каплянский, который жил в Ленинграде в его бывшей квартире. Действительно, очень хорошие скульпторы. Каплянский очень хороший портретист, а Малахин, наоборот, фигуры лепил. Но они как-то все-таки застряли...

Сарабьянов: Не такого масштаба!

Мурина: ...на уровне Матвеева. Все-таки он давил. Они могли быть какими-то другими, может быть, скульпторами, но они не могли выйти из его системы.

Сарабьянов: Как и все ученики Фаворского — в такой же ситуации оказались.

Мурина: Тут парадокс обучения искусству.

”

По-видимому, надо учиться у плохих художников, потом выходить и преодолевать эту школу — и искать себя. А когда ты у такого мастера учишься, то уже...

Споров: Ты становишься подражателем.

Сарабьянов: Ты уже подмастерье.

Мурина: Не то что подражателем, но, общем, в его системе работаешь, в его стиле, в его понятиях о творчестве. Конечно, масштаб не тот получается. Холина... Он назвал нескольких имен. Они, кстати, потом восстановили его работы в Крыму: единственный ансамбль замечательный в Кучук-Кой, было такое имение под Алупкой. Там до революции, еще в 1910-е годы, жил Жуковский — меценат, родственник жены Врубеля. И он решил создать такой парадиз в духе модерна. Красота спасет мир — вот что-то такое... У него был дом в стиле модерн, Кузнецов ему сделал майоликовую стену очень красивую, а Матвеев много скульптур. Во время войны их разбили почти все, причем, говорят, именно наши солдаты. Ну, голые стоят, конечно! Солдатам одно удовольствие — прикладом! (*Смеется.*) И стояли они там такие без рук, какие-то руины, но все же изумительные совершенно, потому что он сам все это делал...

Споров: А это какой материал?

Мурина: Там был мрамор, известняк, по-моему. В общем, настоящий материал, и он сам все это делал, поэтому они были такие... рукотворные, очень живые.

Сарабьянов: А сейчас перевели их в бронзу, что ли?

Мурина: Да нет, потом их вывезли, Русский музей вывез эти остатки. А вот его ученики сделали копии, и они стояли, эти копии, на тех местах, потому что это был ансамбль: там была лестница, которая выходила на площадку, фонтан, посередине стояла фигура Нимфеи. Ну, я сейчас не буду это все описывать, но это был именно ансамбль архитектуры, природы, и скульптуры, и живописи. Маленький, но очень целостный. Но, конечно, копии были уже не то.

Сарабьянов: А копии в каком материале-то?

Мурина: В мраморе. А вот что сейчас там произошло?.. Мне кто-то говорил, что этот мрамор уже кто-то украл, потому что там был дом отдыха, по-моему, какого-то уральского металлургического завода. Но когда Украина отделилась, все это стало ничье, и эти скульптуры мраморные просто вывезли. Не знаю, что там происходит, но боюсь, что все окончательно погибло...

Споров: А в дереве он не работал, кстати, нет?

Мурина: Работал. У него были прекрасные скульптурные группы, небольшие фигуры деревянные, изумительные совершенно, и портрет. Он уничтожал свои работы беспощадно. Оставлял только то, что, он верил, что действительно сделал, что хотел. И даже говорил: «Вот Пашка (имелся в виду Кузнецов, это он мне говорил) ничего не понимает в своих работах, ему все нравится. А надо половину выкинуть, оставить только главное». Но «Пашка» ничего не выкидывал, ему все нравилось, совершенно другой был человек: лучезарный, довольный собой и жизнью. А Матвеев наоборот: очень суровый, самоед. В общем, он мою рукопись в принципе одобрил, и ее издали, но уже без него. Я ее сильно переделала, конечно, пыталась его заветы выполнить. Она как-то нравилась, моя книжка, да?

Сарабьянов: Ну конечно! С большим успехом прошла.

Мурина: Там все-таки впервые о скульптуре писала. Потом я еще вторую писала, более развернутую, уже с каталогом работ. Но куда-то кто-то ее украл — у меня ее нету. Большая была, толстая, солидная книга, не знаю, куда она девалась.

Сарабьянов: Кто-то брал ее...

Мурина: ...А разговор был замечательный, я его даже записала. Он говорил, что Роден (он не любил Родена) месил много глины... и такая бурная патетика ему не нравилась. Но Майоль, конечно, — он его

ценил.

Сарабьянов: Ну, наверное, он Бурдель тоже любил?

Мурина: Я в этих своих воспоминаниях описала этот разговор более подробно, сейчас подзабыла немножко. Но все вместе это было очень сильное впечатление... Необыкновенный художник и человек замечательный, сижу с ним три часа, и мы разговариваем. Через две недели он умирает. У него был рак горла сначала, а потом уж рак легких. Все-таки он проговорил со мной три часа, ему хотелось... высказать многое. А потом мне Зоя Яковлевна... Я говорю: «Зоя Яковлевна, а какие-нибудь есть записи разговоров Александра Терентьевича?» Она говорит: «Да, он много говорил. Он с Малахиным много говорил...» Тот приходил к ним часто, он в Москве жил и очень любил Матвеева, и тот его любил. «Что-то они, — говорит, — много говорили, я даже пыталась иногда записывать, но трудно было. А Малахин, — говорит, — со страху ничего не понимал». (Смеются.) В общем, записей нет никаких. Архив у него был очень маленький. Там было несколько открыток, когда он работал в Кучук...

”

Да, он сказал еще, что до революции он был совершенно нищий, никому не нужный художник. Но работал в Абрамцеве, у Мамонтова была мастерская керамическая, он там что-то делал. А потом — работы не было. Был заказ у Жуковского, но это какие-то копейки, он совершенно был нищий. И вообще такое было ощущение, что скульптура не нужна, но в России действительно скульптура не нужна.

Официальная была нужна, а вот такая, как, скажем... Майоля во Франции признали почти сразу, а здесь — кто? Ну, выставлялись иногда с «Голубой розой», была какая-то статья Левинсона в «Аполлоне», в общем, как-то его не очень знали.

Споров: А почему так? Вы вот как исследователь-искусствовед...

Мурина: В России скульптура вообще — не тот вид творчества, который соответствует менталитету. Вот живопись...

Споров: Это как-то связано с тем, что в религиозной традиции...

Мурина: Может быть, да. Потому что у нас скульптура была только на Севере, она же не принята в церковном искусстве... Такой традиции старой, как там, которая от готики идет... у нас не было, поэтому она и не прижилась по-настоящему. Ну, ставили памятники императорам, ну, «Медный всадник» знаменитый. Но в основном... Да. Я его спросила, а кого он любит из русских скульпторов... Он сказал: «Шубин. Шубин хороший». Он его признавал, Шубина. А потом началось. Я говорю: «Ну, а Козловский?» Мне как-то казался очень... Он: «Немец!» — «Мартос?» — «Немец!» — «Андреев?» — «Ну, он ничего был, а потом тоже испортился — купец вообще...». Вот Голубкину он признавал. В общем, он из всей русской скульптуры признавал Шубина и Голубкину. А все, что между ними... Да, еще почему-то ему нравился «Мальчик, вынимающий занозу» Иванова, в Третьяковке он есть. Там такая сложная композиция, у него тоже бывали такие, может, поэтому. Но в основном, такой традиции стойкой не было и поэтому, конечно, это составляло какую-то беду — скульптуры.

Споров: А Андреева [не любил] не потому, что он стал официальным?

Борьба с формализмом

Мурина: Нет. Он Ленина сам лепил, он, вообще, к Ленину хорошо относился. Он же в 42-м году в партию вступил даже... Ну, потом у него была группа «Октябрь». Это самая его большая работа, она в Ленинграде стоит в Русском музее, сейчас — около кино какого-то. Там красноармеец, рабочий и колхозник — триада. Ну, она такая... классицизм настоящий, такая хорошая вещь, но, конечно, эти его маленькие — они гораздо более содержательные. Такая благородная очень вещь, не так, как у нас все... Нет, он как раз не был такой... Почему у него было страшное недоумение, когда его выгнали из института — потому что он учил, вообще-то, реалистической скульптуре.

Споров: Ну, а за что? Он как это объяснял?

Мурина: Он не понимал, за что, совершенно. И он, вообще, не понимал, как это может быть, почему — так грубо, по-хамски просто, такая статья отвратительная в «Правде», все-таки у нас советская страна вроде — он вот так вот к этому относился. У него потом в архиве, когда

”

я разбирала архив, там у него была такая большая тетрадь, как амбарная книга. И там раз пять — начало письма Жданову, после того, как его выгнали.

Жданов же главный «искусствовед» у нас был. Он, значит, ему пытался объяснить, чем он занимался. Но все это кончалось на двух абзацах, потому что он, наверное, понимал, что это бессмысленно — объяснять этому функционеру про пластические какие-то начала в скульптуре. Такой трагический документ, на самом деле.

Споров: Его в формализме обвиняли?

Сарабьянов: Да.

Споров: То есть это в рамках общей...

Мурина: Да. Это началась волна борьбы с формализмом, и все более-менее хорошие художники и даже очень хорошие — все оказались формалистами. И Фаворский, и все его ученики — все.

Сарабьянов: Как они объясняли Жданову, а потом Прокофьев — помнишь? Когда их собрали, и Жданов что-то говорил-говорил про «Броненосец «Потемкин», а Прокофьев говорит своим друзьям: «Хотят от нас кантилену!» (*Смеется.*)

Мурина: «Ну, сделаем им кантилену!» (*Смеются.*) Пришел прямо в валенках на это заседание, Прокофьев, правда, зима была... Но он был крепкий мужик, его не сбили с копыт. А, конечно, Шостаковича просто... Хотя он написал этот «Раёк» свой тогда же, сразу после этого... Но все-таки он нервный был человек. Вы читали его письма Гликману?

Споров: Нет.

Мурина: Потрясающие письма! Это его друг, он был музыковед, они учились вместе в консерватории, и он с ним очень дружил. Он жил в Ленинграде, поэтому у них сохранилась переписка. То есть то, что писал Гликман, не сохранилось, а то, что писал Шостакович, Гликман сохранил. Это просто невероятное что-то! И он там пишет страшную совершенно вещь: что как-то Шостакович приехал к нему в Ленинград, пришел, сел на диван — и начал рыдать в голос. Он пишет в комментариях к письму:

«Я никогда даже не представлял, что с Димой такое может быть». Просто в голос рыдает. Я говорю: «Что случилось?» — «Они заставляют меня вступить в партию» — «Ну а ты?» — «Я не хочу, конечно». Но они так на него наседали, что он все-таки сдался в конце концов — вступил в партию, бедный. Рыдал! Просто я плакала, когда я это читала. Он так написал хорошо...

Сарабьянов: У них очень смешная была переписка по поводу футбола. Оба были болельщики. И там где-то... с кем-то мы играли, с какой-то иностранной командой, и наш футболист, Баршашкин, что ли? Кажется, Баршашкин... забил в свои ворота, и наши проиграли. И Шостакович пишет: «Баршашкин — это же, наверное, враг народа!» (*Смеются.*)

Мурина: «Это враг народа!» У него гениальное письмо есть, как он поехал куда-то в командировку, на седьмое ноября оказалось, и он пишет: «Пошел гулять, смотрю — висят портреты...» — в общем, всех перечисляет, все Политбюро, имя, отчество и фамилию... всех! Уже смешно невероятно. «Потом вернулся, на обратном пути опять вижу портреты...» — и опять перечисляет фамилии. (*Смеются.*) И ничего не надо дополнять — просто сразу все становится ясно.

Сарабьянов: Они развлекались здорово!

Мурина: И не обвинишь ни в чем, очень почтительно, но, вообще, конечно, потрясающе! Как раз Матвеев, по-моему, был лоялен. Да, он считал, что Советская власть... Он не говорил это, но когда это произошло, после революции был создан ГлавИЗО, Штеренберг во главе, он там был тоже членом... Они что-то решали все-таки. Потом он стал профессором в Академии. А раз профессор, какая-то стабильность в жизни началась. То есть он не был как раз, в отличие от Шостаковича... Поэтому... его просто сломала, разрушила его мир — такая несправедливость.

Споров: А главное — непонятно, действительно, зачем?..

Сарабьянов: Ну, как «зачем»?..

Мурина: А что — можно понять, что было зачем? Просто надо было держать за горло интеллигенцию любым способом, чтобы она поменьше думала и совсем ничего не говорила — вот и все. А для этого нужна была... борьба с формализмом. Какой формализм?! Ужас какой-то! Потом он после этого пытался участвовать в конкурсе: на памятник Чехову, на памятник Ермоловой, на памятник /нрзб/. Он всегда участвовал, у него много таких проектов. Ничего и никогда не принимали, хотя у него очень хороший был памятник Ермоловой, красивый. И Чехову хороший. Не то, что сейчас стоит: какой-то парень длинноногий — ну какой это Чехов? В общем, конечно, трагический был разговор... В моей жизни мало было таких встреч, как эта, с Матвеевым, совершенно неожиданная. Какое-то было ощущение, что очень масштабный человек...

Споров: Но получается, что совсем немного вы были с ним знакомы?

О жене Матвеева, З.Я. Мостовой

Мурина: Да. Три раза я с ним виделась... Ну, а с его женой мы очень потом подружились. Я часто к ней ходила... Детей у них не было...

Сарабьянов: Такая старушка была симпатичная.

Мурина: Ну, она даже... не назовешь ее старушкой.

Сарабьянов: Да, не назовешь старушкой. Но у нее не было такого дамского вида.

Мурина: Нет, она была... художник, художник была, с замечательным чувством цвета... Когда они поженились, по-видимому, она еще была в «Союзе молодежи», и какой-то там был посткубизм — что-то такое. Мне ее племянница рассказала (племянница у нее была как дочка): «Я помню, — говорит, — у нее были какие-то кубистические картины, она все уничтожила». Этого ничего не осталось. В 20-е годы она немножко писала, а потом, в 30-е годы ничего не делала. По-видимому, занималась уже мужем. А когда он умер, стала опять заниматься живописью, очень активно.

Споров: Но это уже снова был кубизм или что?

Мурина: Нет, это уже было такое просто... с натуры в основном она писала. Это была просто живопись, очень красивая, потому что у нее очень тонкое чувство цвета было... просто с натуры. Она стала ездить в Дома творчества летом и там писала. Вот у нее «Купальщики» были — чудная была вещь! В общем, много довольно-таки она написала. Вот мой портрет она писала, но что-то у нее не получилось, неудачный какой-то он был, она его забраковала и даже не закончила, жалко очень. А вот Андронов был в восторге от нее, он у нее выклянчил несколько работ. А я как-то постеснялась у нее выклянчить. А потом, когда она умерла, была комиссия создана по их наследию, я там была, конечно, в этой комиссии, но все ее наследие отправили в Пермь, откуда она родом, в музей.

Сарабьянов: Но он хороший музей.

Мурина: Музей хороший. Я не знаю, они выставляют или нет. У нее больших работ не было, но такие... типа этюдов даже, но очень хорошие. Такие пятна, в основном, она не вырисовывала четко: портрет какой-то — пятно, но очень красивое. Прелестная она была — веселая, хлебосол, сама любила выпить, мы с ней выпивали. (*Смеются.*)

Споров: У вас все старушки такие: хлебосольные, и выпить с ними... (*Смеются.*)

Мурина: Ну что делать, да.

Сарабьянов: О ком ни вспомнишь, все любили выпить, кроме Матвеева. Хотя он тоже, может, в молодые годы...

Мурина: Нет, не думаю, не знаю. Нет, не похоже. Но она — не то чтобы напивалась. Просто звала меня: приходите обедать. Я, конечно, бегу, потому что я просто ее саму любила очень, Володьку она моего любила, младшего сына, мы с ним часто к ней ходили, он книжки смотрел, рисовал что-то. Ну, конечно, обязательно графинчик стоит, мы с ней рюмку — другую — третью выпьем, она наравне со мной. Это не пьянство, просто русский обычай — за обедом выпить, сам Бог велел. (*Смеется.*) Когда вышла моя первая книга, она вдруг достала какой-то ящик, откуда-то вынула, у них там была коллекция — не драгоценностей, а таких... какие-то браслеты, кольца, серьги... старинные, — не бриллианты, а такое всё... как бы искусство ювелирки: это и не народное, не такое, как сейчас... не сейчас, — а когда носили в XIX веке, нет, — это что-то более старое было, татарское какое-то... бирюза...

Споров: А! Археология.

Мурина: Да, археология, правильно.



И она мне говорит: «Выбирайте, что хотите!» Я вцепилась в один браслет. Она говорит: «Ну, это вас, пожалуй, могут уличить, что вы из музея украли». А потом я видела в Историческом музее такой браслет, очень древний. Но другой тоже очень хороший был.

Сарабьянов: И куда же ты его дела?

Мурина: Ну, я не взяла после такой реплики. «Ну, я не знала, Зоя Яковлевна!» А другой тоже был очень красивый, очень я его любила, но куда-то он у меня пропал, кто-то украл, по-моему. А потом она мне подарила скульптуру маленькую, она у меня стоит, очень хорошую — бронза.

Споров: Это Матвеев собирал старое все?

Мурина: Ну, они вместе, наверное, собирали. Ну, не то, что это что-то огромное, такого коллекционерства не было. Но, по-видимому, когда им попадалось где-то, поскольку это искусство древнее... По-видимому, это тоже отравили потом в Пермь.

Споров: Да. Интересная связь с началом века, собственно говоря. У вас прямо всё живое.

Мурина: Да. Я вот, к сожалению, не умею расспрашивать, не соображаю вовремя задать вопрос важный. Потом мне вдруг, задним числом, приходит в голову что-нибудь, поэтому в основном он [Матвеев] мне все говорил, что хотел, а я только сидела, хлопала глазами, немножко записывала.

Споров: А про старое время он рассказывал, про начало века, про общение свое с кем-то? Вы упомянули только, что он был бедный...

Мурина: Да, он очень любил Борисова-Мусатова, с ним общался, и с Павлом Кузнецовым они очень дружили.

Споров: Всегда?

Мурина: Да, всегда, и до старости. Когда он умер, Зоя Яковлевна нас несколько раз приглашала к себе, в том числе — пару раз вместе с Павлом Кузнецовым и Еленой Михайловной. Они дружили, он его «Пашка» называл. А Павел Кузнецов про него сказал: «У Александра в кончиках пальцев прямо какой-то черт сидел». То есть он очень ценил непосредственное прикосновение к материалу и в своей живописи, и он считал, что у него [Матвеева] «черт сидел» в пальцах. *(Смеется.)* Они друг друга очень любили. А так я даже не знаю, с кем он общался. Он дружил... вот был такой Станюкович, он был врач, и он с ним дружил, но это было до революции. Вот как раз его жену, Станюковича этого, любил Борисов-Мусатов. Она была такая муза компании этой... она была очень привлекательная женщина... Не красавица, а именно приятная-красивая. А Станюкович был на Русско-японской войне, и там он сошелся с какой-то другой женщиной... не знаю... или я что-то путаю, но, во всяком случае, он оставил эту свою жену, и она вскоре умерла. И они подозревали, что она покончила с собой. А так у них был вот этот круг: Борисов-Мусатов, Станюкович, жена Станюковича, Павел Кузнецов...

Сарабьянов: Ну, все-таки это разные были поколения...

Мурина: Потом у него был Кикерин. Когда делал скульптуры для Жуковского, он работал в мастерской керамиста...

Сарабьянов: Кикерин, да, был такой.

Мурина: ...Кикерина, он был его другом, давал ему место, он [Матвеев] там все это лепил. И этот Кикерин тоже делал мозаики маленькие, в этом имении. Вот это был его друг тоже, до революции, а потом я даже не знаю, куда он девался. А после революции — ученики. Но он, по-моему, не из тех был людей, которые дружат. Вот он с Пашкой дружил смолоду, а так, чтобы... он окружал себя друзьями... какие-то встречи — ничего этого не было на самом деле. У меня такое впечатление. Правда, я не расспрашивала, а так, судя по Зое Яковлевне, у нее тоже подруг каких-то... Она никогда об этом не говорила: что у нее такая была подруга, такая, с тем они общались, с этим. Нет. Он очень строгий был в отношении людей. Вот эти открытки, которые в архиве, там много жалоб на то, что денег нету, непонятно, что будет, вот кончится эта работа, что делать, как зарабатывать, как жить.

Споров: Что это за открытки?

Мурина: Он писал эти открытки из Крыма, где делал скульптуры, кому-то здесь, кому-то из друзей, сейчас даже не помню, к сожалению, кому. Но не ей. Они еще не были женаты тогда, они поженились, по-моему, году в 16-м, вот так... А, он еще дружил с Уткиным, был такой живописец, хороший очень живописец, он с ним тоже дружил.

Сарабьянов: Он тоже саратовский.

Мурина: Фотография есть, они вместе с Уткиным, несколько фотографий, тоже в Кучук-Кое...

Споров: Ясно-ясно. Спасибо, Я думаю, про Александра Терентьевича тоже сегодня получилось... Здорово, когда рассказ, собственно, про человека, который почти сто пятьдесят лет назад родился, вот он...

Мурина: Да-да-да. А есть даже такая игра — знаете?

Споров: Через сколько рукопожатий?

Рассказ Е.Б. Муриной о своем отце

Мурина: Да. Мой отец сидел в лагере, и туда привезли, когда захватили Польшу, графиню Валевскую, какую-то потомницу графини Валевской, у которой был роман с Наполеоном. (*Смеются.*) Говорили, что немислимой красоты женщина, совершенно невероятной! И он говорил: «Вот у меня через рукопожатие с этой графиней Валевской — прямо с Наполеоном»...

Споров: Снова встреча через лагерь...

Мурина: (*Смеется.*) А мой отец всегда говорил: «Ну что тут? — поговорить не с кем!» (Когда он уже на свободе был.) Вот там, говорит, были люди.

Споров: Сколько он там?..

Мурина: Восемь лет.

Споров: Его до войны посадили?

Мурина: Да, в 38-м году.

Споров: Вообще тоже интересно записать как-нибудь.

Мурина: Он вообще-то был в разводе с моей мамой. Когда мне было пять лет, они развелись, он ушел

к другой даме. Но от нее тоже быстро ушел, она не успела даже родить сына, она была беременна, по-моему, он от нее уже ушел. Я этого сына никогда не видела. А эта дама была очень сильно партийная, поэтому она своему сыну сказала, что его отец погиб на фронте. И когда отец вернулся, я говорю: «Ну что же, надо найти твоего Володю». Он говорит: «Не имею права, я их бросил. А Дина сказала ему, что отец погиб на фронте, что же я буду ее разоблачать перед сыном». Так он его и не узнал.

Споров: А за что отца посадили?

Мурина: Он был журналист, работал в Баку, в газете «Бакинский рабочий», он там был ученым (*оговорка: ответственным*) секретарем. И он, кажется, был один раз в какой-то командировке в Турции. Вот как турецкого шпиона его и посадили. Причем его допрашивал его редактор, такой партийный дядька, который говорил: «Ну, Борис, ты еврей, ты умный, я тебе доверяю, руководи газетой». А потом его мобилизовали в НКВД, потому что не хватало следователей, которые бьют по морде, и он как раз моего папашу допрашивал уже как шпиона. А началось с того, что его уволили с работы, моего отца (он не был партийным, кстати), и он пошел жаловаться и дошел до самого главного обкомовского партийного секретаря. И вот он рассказывал: «Сидит такой усталый немолодой человек. Я что-то ему рассказываю, он так на меня смотрит, потом говорит: «Слушай, уезжай ты отсюда подальше». Не стал объяснять.

”

Если бы отец уехал из Баку, его бы уже не искали ни в Москве, нигде, потому что он шел по разверсткам бакинским. Он не понял и остался, ну, вот его скоро загребли.

Споров: А вы тоже жили в Баку?

Мурина: Нет, он ушел от меня с мамой, это уже 38-й год, мне было уже двенадцать лет, я его даже мало знала, я его видела два раза всего после развода. Но у него там много было забавных историй.

Споров: Вы имеете в виду тюремных или бакинских?

Мурина: Нет, бакинских. В Баку он был ужасный... он, вообще, был, несмотря на то, что еврей, жуткая богема, пьяница, гуляка, бабник — в общем, никаких еврейских добродетелей у него не было совершенно. (*Смеется.*)

Споров: Как его звали?

Мурина: Борис Юльевич Мурин. Я ему говорю, потом уже, когда он вернулся: «Откуда у тебя эта фамилия? Это же не еврейская фамилия. Есть святой Моисей Мурин». А он говорит: «У нас даже было такое поверье, что родоначальник нашего рода был какой-то новгородский купец, который вступил в секту жидовствующих, постепенно ожидал, женился на еврейке, а фамилия осталась от этого Моисея Мурина». Потому что я встречала Муриных русских. И даже...

Споров: Вы думаете, что святой Моисей Мурин — это родственник?

Мурина: Нет, не родственник. Но просто от этого купца он, может, получил фамилию Мурин. Нет, тот Мурин — четвертого века. (*Смеются.*)

Сарабьянов: Нет, ну, Мурин же — это черный.

Мурина: Да, Мурин — это мавр. Он был негр, мавр. Страшный гуляка тоже, разбойник, убийца, он потом раскаялся и стал святым — Моисей Мурин. Хороший парень был (*смеется*). Я даже как-то встретила закройщицу в каком-то ателье Мурина. Она говорит: «Ой, вы тоже Мурина?» Я говорю: «Да». — «Ой, — говорит, — у нас вся деревня Мурины» (*смеется*).

Споров: А где сидел он?

Мурина: Он сидел в Коми, в Вожаеле, был такой центр лагерей, их было много разных, он там сидел. Он лес валил, но недолго, какую-то там карьеру все время делал.

Сарабьянов: Так он же театром там занимался.

Споров: А после лагеря какова судьба его?

Мурина: А после лагеря моя мама... Она была замечательная женщина, страшно добрая, отзывчивая на все беды человеческие... Я вообще его не знала, но когда он оказался в лагере, он маме написал письмо. У него не было уже никаких жен, он был богема, с какими-то грузинами дружил и морфинистом даже стал в этом Баку, так что его лагерь спас от этого дела. И он написал письмо из лагеря моей маме...

Споров: То есть он всю войну... Когда его посадили?

Мурина: В 38-м.

Споров: В 38-м году. Значит, он всю войну просидел?

Мурина: Да, он просился на войну, но его не пустили. И он написал письмо маме, что он в лагере, и мы стали с ним переписываться... Поскольку я очень любила стихи, всякое такое, а он стихи писал, вот на эту тему мы с ним... правда, у нас вкусы не сходились совсем: я очень Хлебникова любила, а он считал, что...

Споров: Какие у вас вкусы!

Мурина: Да, мне уже было лет восемнадцать, взрослая была. А он это не любил, но неважно. И когда у него кончился срок, его из лагеря выпустили, он поселился около лагеря где-то, потому что ему некуда было ехать, у него не было ни дома, ничего... И мама к нему поехала туда, просто пожалеть. И они решили сойтись. Она его привезла в Москву, со всеми его минусами — а это же не то, что Москва, но и большие все города — нельзя было жить, клеймо в паспорте. Началась совершенно жуткая жизнь: он приехал, поселился у нас, мы жили в коммуналке, естественно. Прожил месяца два-три, потом вдруг (он был дома) звонок, он открывает дверь — стоит милиционер с каким-то штатским. «Мурин дома?» Он говорит: «Нет». Ну, и после этого он, конечно, ушел, донес все-таки кто-то, что он живет у нас. И мама моя десять лет, до реабилитации, примерно с 46-го — 47-го года, она его всюду прятала — у каких-то знакомых, у друзей, на каких-то дачах. Он жил в Москве.

Споров: Ничего себе!

Мурина: Потом она поменяла свою комнату (на Плющихе мы жили) на другую, на Малый Левшинский. А за это время ее сестра в Ярославле (мама моя из Ярославля) сделала ему паспорт ярославский, она была врачом санитарным на рынке, и у нее какие-то связи с милицией. И у него был просто ярославский паспорт. Поэтому, если его останавливали на улице — ну, приехал за колбасой... Уже безопасно. И он стал с ней жить в Москве, в этой новой квартире, тоже коммуналке, но все-таки... Да, он, между прочим, все-таки был наказан. Когда он вернулся, у него были какие-то старые друзья-журналисты, кого-то он встретил из Радиокomiteта, и они ему говорят: «Борис, приходи, мы тебе работу

дадим, халтурку какую-нибудь». Он туда пришел, и там его увидела эта его Дина, к которой он ушел от моей мамы. Она написала в партком, что враг народа Мурин ходит в Радиокomitee и такие-то такие-то дают ему работу. Их всех исключили из партии. Ужас! Так он жил. Он диссертации писал для каких-то азиатов, куплеты для какого-то своего приятеля, который что-то на эстраде... В общем, перебивался, но работать не мог никуда пойти, потому что документ был фальшивый.

Споров: Там, конечно, не было указано, что он сидел?..

Мурина: Там ничего не было, но отделы кадров всюду же были, так что...

Споров: Но на его фамилию?

Мурина: Да-да, на его фамилию... Он рано умер. Он больной вернулся весь, конечно. В Баку его пытали, сажали в какие-то камеры жуткие, где нельзя ни сесть, ни встать, только стоять. Так что он больной очень был. Но веселый. Если выпьет в компании, весь стол хохотал от его острот... Когда умер, ему было шестьдесят три года всего.

Рассказ Муриной о маме, Н.В. Бухариной

Споров: А мама чем занималась?

Мурина: Мама была инженер, она работала в мастерской у братьев Весниных. У Гинзбурга сначала работала, потом они слились, Гинзбург с Весниным, и она там работала.

Споров: То есть Веснины вас еще девочкой знали?

Мурина: Ну, я думаю, они меня не знали, но я их знала, видела. Они маму очень любили, странно вообще... Она совершенно из простецкой такой семьи, ярославской, но у нее вкус был очень хороший, глаз, вкус. И вот они, когда рассматривали проекты какие-нибудь, всегда говорили: «Давайте Надю позовем».

Я рассказывала, как мама с Солженицыным познакомилась? Ну, и он захотел с ней познакомиться, и она ему очень приглянулась. Она была уже пожилая, сколько ей было лет? Это когда было-то? Во всяком случае, она была уже бабушка, просто она ему понравилась, как такая старушка симпатичная. А она просто влюбилась в него.

”

Она познакомилась с ним, пришла к нам в совершенном восторге. Мы: «Ну, какой он?» Она: «Великолепная семерка!» Мы все видели: угрюмый такой вид, на фотографиях... актер тоже. «Великолепная семерка!» Действительно, я потом его видела — абсолютно на этого не похож был: высокий, бодрый, весь — сплошная энергия, розовое лицо у него было, совершенно другой.

Споров: То есть он такого труженика, страдальца строил на фотографии?

Мурина: Да, он совершенно другой был. Но он тогда еще молодой был сравнительно, он уже тогда был женат на этой Наташе, то есть он с ней жил, она не была его женой, потому что его жена не давала ему развод. А она начала рожать, эта Наташа, все время — погодки, три мальчика были. Он не мог жить в Москве, потому что он с ней не был расписан, у него не было московской прописки, его на крючке

все время держали, он не мог в Москве жить. Его взял к себе Ростропович на дачу. Где эта дача была? Успенское, по-моему. Ну, там был поселок академический, когда-то Сталин подарил академикам, и там у него была дача, у Ростроповича, и он [Солженицын] там жил. А Наташа все время беременная, причем она тяжело очень носила, и поэтому ему... Надо было как-то его кормить. И мама сказала: «Давайте, я буду его кормить». И он согласился, а вообще он был очень строг насчет... Два раза в неделю ездила на поезде и очень смешно про него рассказывала. Он говорит: «Надежда Васильевна, вы какой-то очень наваристый суп делаете. У нас в лагере баланда была не такая». *(Усмехается.)* И она говорит: «Я сварю ему наваристый суп, потом выну оттуда половину того... и он думает, что уже на баланду похоже». Спасала... Он тогда писал «ГУЛАГ», по-моему... Она говорила, он с утра работал, только отключался на обед, в это время он слушал «вражеские голоса»... Она, например, говорит: «Вот он мне говорит: „Надежда Васильевна, там лежат антрекоты, они немножко пахивают, но вы не выбрасывайте, мы их помоем, и я их съем, потому что у нас в лагере такого никогда вообще не было, выбрасывать нельзя“». Он все время оставался лагерным волком.

Споров: Многие старые люди не выбрасывают ничего, я по своим знаю..

Мурина: Но он не старый тогда был. В общем, мама мыла эти антрекоты в марганцовке, потом ему их жарила.

Споров: И сколько она так ездила, Солженицына кормила?

Сарабьянов: Наверное, лет пять.

Мурина: Да, долго, несколько лет. Собственно, он же так и не был, по-моему, прописан здесь. У него квартира была на Тверской, во дворе. Мама как раз была у них, она потом нянчила детей их.

Споров: Ваша мама?

Мурина: Да. Не то что нянчила, а помогала, потому что трое детей, один за другим. Они ее очень любили все, конечно, маму мою. А я так рада была, что у нее интересная жизнь началась. Она говорила: «Вот, Лелька, я тебе не помогаю...» Я говорю: «Ради бога, не надо, мы обойдемся, живи своей интересной жизнью». Какие-то диссиденты вокруг нее вертелись, всех она знала, и уже она Алику Гинзбургу с детьми помогала, в общем, со всеми.

”

Мама — феномен, в центре была. Она просто была очень такой хлебосол, русская баба жалостливая. К ней приходили обедать все эти голодные ребята, она их всех кормила каким-то образом. У нее был перевалочный пункт, вечно у нее какие-то жены украинских диссидентов ночевали, когда ехали в ссылку к своим...

Потом, как я выяснила, на нее завели все-таки дело, на нее было свое досье в НКВД. У нас как-то был обыск, и у меня забрали весь ее... (она уже умерла), забрали весь ее [архив]... И там пытались... Ну, это уже другая история... Летом она даже там жила иногда, у них на даче, у Ростроповичей. Со Славочкой, конечно, была полная любовь, поскольку он сразу, когда вас увидит, стал [бы] говорить: «Мить, ну ты как там, вообще...» *(Смеется.)*

Споров: По-престеcki.

Мурина: Сразу, никаких преград, моментально переходил на «ты», начинал что-нибудь рассказывать.

Гениальный был рассказчик! Какие-то истории рассказывал, уморительные совершенно...

Обыск по делу Ф.Г. Светова

Споров: Вы говорите — обыск у вас был после ее смерти?

Мурина: Это уже было у меня по делу одного моего приятеля. Его арестовали... Но это совсем уже другая история... Они у меня забрали все, что у меня было, все бумаги. А у меня были и ее документы тоже. А она одно время, когда там один... был же такой Солженицынский фонд, он все свои деньги от «ГУЛАГа» тратил на здешних заключенных.

Споров: Ну, это и сейчас есть.

Мурина: Он переводил сюда, да. А тогда он переводил, причем переводил... Как? Деньги сюда не пришлешь, доллары или что там, поэтому была очень сложная система, мама тоже помогала. Когда кто-нибудь уезжал, в Израиль или куда-то, они обычно продавали какие-то свои вещи и надо было им помочь, чтобы они вывезли русские деньги... Нет, как же это было? Да! Эти русские деньги поступали в фонд здешний, а там им компенсировали долларами. Кто-то там занимался этим фондом, не сам он [Солженицын], конечно, деньгами занимался. И вот мама иногда, у нее много знакомых было, был поток — все уезжали, вот такие махинации... Кроме того, она какое-то время даже немножко этим фондом заведовала, потому что умер один парень, который им заведовал, и ее попросили временно распорядиться этими деньгами. И у нее была какая-то бумага, где написано было: такие-то, такие-то, такие-то, сокращенно, но что-то с деньгами. И в том числе было написано: «Феликс» и какие-то деньги. А вот Феликс этот — как раз был парень, по делу которого у меня был обыск, наш друг, мой друг, вернее — Дима не очень с ним дружил.

Споров: Это не Светов?



Мурина: Да, Светов. И по его делу у меня был обыск. И получилось так, что они... Да, все дело в том, что они у меня нашли его рукопись. У меня такой ломберный стол, где письма, все. Ну и они, наверное, прослушивали его, а потом — ну это длинно рассказывать... Приезжала еще сюда, вот накануне его ареста... (жена уже сидела — Зоя Крахмальникова, она в ссылке была). А к нему пришел Потапов такой, священник, который вел передачи на «Свободе». И что-то ему Феликс наговорил, не знаю, что, но, в общем, этот Потапов заявил, что скоро выйдет номер «Надежды», который издавала Зоя, за который она сидела. И они решили, что Феликс это все делает, а таскает ко мне какие-то документы этой «Надежды», по-видимому, я так вычислила просто. Не знаю. И они: «Ах, хорошо, сейчас пошарим!» — и под это дело еще обыскали несколько человек, которые вообще никакого отношения не имели, но они знакомы были с Феликсом, — хотели к ним подобраться, чтобы у них там пошарить, и был повод, понимаете? И вот они тут шарили, шарили у меня и нашли эту рукопись. «Что это такое?» — «Да я не знаю, что». А у меня оформлена была секретарем дочка Светова, Зочка, и я говорю: «Мне Зочка печатала одну работу, я зашла за ней, ее не было, взяла по ошибке эту вместо своей». Мне следователь говорит: «Ну, Елена Борисовна, ну, все-таки...» А я говорю: «Мало ли что в жизни бывает! Еще более странные ситуации бывают в жизни, которые даже в романе не опишешь». Мне главное было не говорить, что это он мне дал, потому что иначе они на него бы завели дело, что он распространяет антисоветскую литературу. А они ничего не нашли, никакую «Надежду», ничего нигде не нашли, кроме этой рукописи, его ни в чем нельзя было обвинить. Поэтому ко мне прицепились, таскали меня в прокуратуру, потом на Лубянке я даже побывала, и продолжала все это вранье. Пугали страшно. Пугали как: поскольку обыск был у меня, а у меня была Ахматова, Цветаева, ну, издания тамошние, Мандельштам — все это забрали, хотя... Я: «Чего забираете, у нас же их издают». Ну забрали. Да! И в деревню к нам поехали, там нашли Шаламова, еще какие-то, но, правда, Солженицына не было — я его раздавала читать. А потом написали в университет, ректору. В общем, комедия. Совершенно не было страшно уже, надо сказать.

Споров: Да? Это же конец 80-х? Середина?

Мурина: 85-й год.

Сарабьянов: Только-только Горбачев, так сказать...

Мурина: Нет, Горбачева не было, Черненко был. Черненко был недолго, и все это, конечно, поехало... Ну, Горбачев выпустил Зою и Светова, и прекратили это дело.

Сарабьянов: Это другой вопрос, он до этих дел еще не добрался, он только-только вступил...

Мурина: Ну, не знаю, не важно.

Сарабьянов: А я знаю.

Мурина: В общем, страшно совершенно не было. А к нам как раз в день обыска пришел один его коллега, ученик бывший, и его не выпустили, конечно. Потом пришел фотограф, который фотографировал картины. И его тоже. Они были в восторге, им так интересно было! *(Смеется)*

Споров: Как в 30-е годы!

Мурина: Да. Они не выпускали, если пришел — все, сиди, пока обыск не кончится. По-моему, они были очень довольны, им было интересно.

Споров: Да, совсем другое, конечно, восприятие.

Мурина: Да, уже не было такого. Да,

”

они написали, что у него в доме нашли антисоветскую литературу, декан его вызвал, говорит: «Дмитрий Владимирович, что будем делать-то?» А он говорит: «Да я же давно тебе подавал заявление, чтобы меня освободили от заведования кафедрой. Вот давай освобождай». Его освободили — он был счастлив, что его наконец-то освободили...

Потом они нашего Володьку... ходили к нему на работу. Ну, Володьку вообще испугать невозможно, он плевал на все эти дела. В общем, пытались нажимать. Меня пугали, что меня из МОСХа исключат. Я: «Ну исключат, ну и что?» Единственное, о чем жалею, что на суде, когда прочли обвинительное заключение (такое вранье было абсолютное, про этого Светова, ни на чем не основанное), а я была как свидетель с его стороны, надо было просто плюнуть и уйти, но я как-то не сообразила сказать, что я не хочу в этом участвовать. Просто не сообразила, не потому, что мне страшно, а как-то не пришло в голову. Даже было интересно наблюдать, как они лепят дело-то, как они делают. Им надо оправдывать свое существование, они и придумывают заранее такой сюжет, что Светов издает «Надежду», Мурина ему помогает, Зеленский ему помогает, у них есть какие-то материалы, сейчас мы это слепим, «Посев» — и пошло. А все это рассыпается, потому что Мурина не дает показания, ничего больше не нашли. А все равно его надо судить, раз поймали. Видно было, что они просто... У нас они под окном сидели, в день обыска, вечером. Ну, к нам, конечно, сбежались наши друзья, мы сидим на кухне и говорим: то-се, пятое-десятое, и говорят: «А у вас в деревне что-нибудь есть?» Я говорю: «Ну есть там, ничего особенного...» А они все это записывали, записали, что у нас есть в деревне дом. И на следующий день я пасла внуков, вдруг Володька приезжает с кагэбэшником. Они все были... ну, Сутин там был, прокурор районный, несколько милиционеров, и был один кагэбэшник, очень гадкий... «Елена Борисовна, вы с нами сейчас поедете к вам в деревню». Я говорю: «Здрасьте! Уже ночь на дворе (зимой дело было, темно уже). Никуда не поеду!» — «А как же?» — «Давайте завтра». — «Нет, Елена Борисовна, нельзя завтра, надо сегодня». Я говорю: «А я не поеду». Володька говорит: «Мам, ну я поеду». — «Ну, вот, пускай он поедет». Вот они к нам в деревню приехали, причем Володька им не сказал, как к нам ехать, поэтому они через Тверь ехали, очень долго, там они еще подцепили два ЗИМа каких-то с ихними кагэбэшниками. И вдруг в нашу деревушку въезжает три ЗИМа с кагэбэшниками! (*Смеется.*) Зовут понятых, разбудили каких-то мужиков... Комедия! Ну, там они нашли Шаламова, что-то еще, но ничего особенного.

Споров: Но тогда уже Шаламовым интересовались...

Сарабьянов: У нас была Нюрка, такая хулиганка...

Мурина: Бригадирша, ее мужа забрали понятым.

Споров: Она тоже заинтересовалась, что там происходит...

Мурина: ...примчалась, а ее не пускают в дом.

Сарабьянов: Подходит к нашему дому и в дверь кричит (меня-то не было, а был Володька): «Дмитрий Владимирович! Гони ты их на..!» (*Смеются.*)

Мурина: Деревня очень смешно реагировала, у них же все сидели: за самогон, еще за что-нибудь.

Сарабьянов: А потом же, помнишь?

Мурина: Они потом решили, что посадили Дмитрия Владимировича.

Сарабьянов: Да, что меня посадили на шесть лет, что ли.

Мурина: «Ну что, Владимировича-то посадили на семь лет?» — они говорят. — «Ничего не посадили». — «А чего же они приезжали?» — «Да так, ерунда какая-то». Тут одна-то говорит: «То-то я видела по телевизору — в президиуме-то сидел!» А это был Пономарев, а они решили, что это ты, помнишь? Тетя Дуня тебя приняла за Пономарева, ты без бороды был. (*Смеется.*)

Сарабьянов: А! Да-да.

Мурина: Умора.

Споров: Ну, световская история была такой знаковой, яркой. Я так понимаю, что все-таки их интересовали религиозные дела, в 80-е годы, нет?

Мурина: Может, интересовали, но официально посадили за «Посев», потому что «Надежда» выходила в «Посеве». А про религиозное-то не было обвинения, что они там проповедуют религию — этого не было... Антисоветская пропаганда была в обвинении.

Фотографии любезно предоставлены Д.В. Сарабьяновым и Е.Б. Муриной.